ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ПОЗДНЯЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ НАШУ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПУШКИНА»

Петр Вяземский

Поздняя редакция статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»

«Public Domain»

1847

Вяземский П. А.

Поздняя редакция статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1847

«Один из главных недостатков нашей литературы заключается в том, что наши грамотные люди часто мало образованны, а образованные часто мало грамотны. У нас такой сложился порядок, что образованность сама по себе, а грамотность сама по себе. Можно к этому еще прибавить, что нередко встречается дарование, при котором нет ума, и ум, при котором нет дарования. У нас вообще всего труднее сводить концы с концами. Концы так врозь и так напряженно разрослись, что они расползаются, если захочешь их пригнать. По большей части пишут у нас те, которым писать нечего и не о чем…»

© Вяземский П. А., 1847
© Public Domain, 1847

Содержание

I 5
II 8
Конец ознакомительного фрагмента. 10

Петр Вяземский
Поздняя редакция статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»

I

Один из главных недостатков нашей литературы заключается в том, что наши грамотные люди часто мало образованны, а образованные часто мало грамотны. У нас такой сложился порядок, что образованность сама по себе, а грамотность сама по себе. Можно к этому еще прибавить, что нередко встречается дарование, при котором нет ума, и ум, при котором нет дарования. У нас вообще всего труднее сводить концы с концами. Концы так врозь и так напряженно разрослись, что они расползаются, если захочешь их пригнать. По большей части пишут у нас те, которым писать нечего и не о чем. Те, которым писать было бы о чем, не имеют привычки или дичатся писать. Люди, не принадлежащие к разряду присяжных писателей, боятся выставить себя напоказ, боятся причислить себя к известному ремеслу и вписаться в известный цех *сочинительства.* Сочинитель у нас такая же отдельная личность, как, например, зубной врач. Недостает только вывески на месте жительства, но подразумеваемая вывеска не менее того бросается всем в глаза. Сочинитель не в силах скидывать ее с себя ни дома, ни на улице, ни в гостях. Он как-то и в семье своей сперва сочинитель, а там уже муж и отец. Это какой-то несмываемый первородный грех. Вообще многие не любят, чтобы именовали их по званию, а не по настоящей их личности. Каждый хочет непременно быть Василием Ивановичем или Иваном Кузьмичом, а и того лучше его высокоблагородием и его превосходительством, но уж никак не господином доктором, не господином профессором и т. д. Помню, например, как князь Иван Михайлович Долгоруков жаловался мне на покойного отца моего, который в разговоре обыкновенно именовал его «господин вице-губернатор», когда он занимал эту должность в Пензе, а мой отец был генерал-губернатором нижегородским и пензенским. Видно, что это неудовольствие крепко засело в память и душу его, ибо оно отозвалось по миновании многих лет. Пушкин также не *любил* слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно *являлся* он в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин. Понимаю это. Но если уж и он, достигнувший славы *сочинительством,* как бы чуждался патента на нее, то каково же другим, второстепенным сочинителям, но людям рассудительным, навязывать на себя эту цеховую бляху, только что не под нумером. Что-то похожее было и со мною. Однажды летом заехал я на дачу к графу Кутайсову, который жил тогда у тестя своего, светлейшего князя Лопухина. Пока я ожидал в передней, чтобы доложили обо мне, слышу, как старый и дребезжащий голос хозяина дома спрашивает: «Кто это приехал?» Какой-то женский голос отвечает громко, потому что князь Лопухин уже худо слышал: «Вяземский». «Какой Вяземский?» – спрашивает тот же старческий голос. И та же женская речь раздается громогласно: «Сочинитель». Тут хотелось мне ворваться в комнату и также в свою очередь прокричать: «Не сочинитель, ваша светлость, а сын покойного приятеля вашего, князя Андрея Ивановича Вяземского». Сюда напрашивается еще следующий рассказ. Один военный начальник строго выговаривал молодому подчиненному своему за то, что он занимается сочинениями и печатает себя в журналах. «Что это вздумалось тебе? – говорит он. – На это есть сочинители, а ты гвардейский офицер». Выговор может, разуме-

ется, показаться довольно странным, но он не лишен некоторого основания и по общим принятым понятиям объясняется, если не вполне оправдывается. Знаменитый Манзони был почти того же мнения, но в другом отношении. Он говорил мне в Милане в 1835 году, что со временем звание писателя совершенно упразднится и сольется со всеми другими званиями, потому что способность писать и привычка отдавать себя в печать, когда нужно, будут общие принадлежности всех образованных людей. А надеяться должно, что со временем все люди будут более или менее образованны. Из того, разумеется, не следует, что все будут поголовно поэты и отличные прозаики, как и ныне в числе словесных тварей не все Демосфены и Цицероны. Дело только в том, что авторство и письменность не будут особенностию и почетным исключением. Мы уже видим, что на Западе многие не принадлежащие к касте так называемых литераторов пишут и печатают свои записки (mèmoires), путевые впечатления, письма и так далее. Они литературою, так сказать, не промышляют и не живут, но все-таки они сподвижники в деле книгопечатания и признают Гутенберга своим предком. Дело в том, что они просто люди грамотные и пользуются грамотою как общим человеческим достоянием и домашним орудием.

Между тем когда на Западе грамотность или письменность вообще распространяется, творения собственно литературные падают более и более. В то самое время, когда литераторы перерождаются в публицистов и в политические лица, выделывая в литературы, то есть из журналистики, ступень для достижения парламентской трибуны, а от нее префектуры или министерского кресла, политические лица, депутаты, министры силою обстоятельств и общего давления втягиваются в журнальную и письменную деятельность. Там редко найти литератора, который был бы не что иное, как литератор, и довольствовался бы этим званием. Исключений так мало, что они в счет не входят. Из известных мне во Франции, может быть, и есть только одно исключение, достойное особенной отметки. Это Сент-Бев. Едва ли не он один остался верен свободному, бескорыстному и наследственному служению[1]. Еще назвать могу одно исключение, которое встречал я в Париже и в Риме, а именно поэта-булочника Ребуля (Reboul). Это замечательная личность и по дарованию, и по добродушию и нравственным качествам. Впрочем, позднее и он был оторван от хлеба насущного и от хлеба духовного, но не надолго: он был в округе своем избран в члены представительного собрания. Впрочем, куда ни посмотри, в Англии, в Германии, а в особенности во Франции литература ныне не что иное, как средство и орудие. Некогда могучая и самобытная республика письмен (la rèpublique des lettres) занимает в настоящее время в статистике всемирной место едва ли не уступающее в значении и силе республике Сан-Марино, которую не заметил и, следовательно, не проглотил и сам Наполеон I. Все, что ныне читается с жадностию, разве это литература в прежнем смысле этого слова? Священнослужение обратилось более или менее в спекуляцию и промышленность. Кто ныне пишет поэмы? Куда девалась трагедия? Сколько различных родов пиитики и статей литературного уложения пропало без вести! Исторические творения, как пишут их ныне Тьер, Ламартин, Луи Блан, Мишле, даже литературные курсы, какие преподаются, например, парижскими профессорами, разве все это чистая и бескорыстная литература? Везде из-под литературной оболочки проглядывают политика, дух партий, задние мысли, гражданские и социальные утопии и прочее вовсе не литературное.

Тут вспомнишь Крылова:

---

[1] Эти строки были написаны тому четверть века и более. В то время знавал я Сент-Бева в салоне г-жи Рекамье. Тогда был он, между прочим, поклонником, послушником и почти прислужником Шатобриана. По смерти г-жи Рекамье и его, он изменил своему чистому призванию и своим верованиям. Он издал большую книгу о Шатобриане или, скорее, против Шатобриана. Он сжег то, что прежде обожал. Во время второй империи он назначен был сенатором; но, впрочем, и тут, надобно сказать правду, умел он при всем этом сохранить некоторую независимость, оставался литератором и написал несколько превосходных критических и биографических статей.

Сосед соседа звал откушать,
Но умысел другой тут был.

и прибавишь:

Сосед политику любил
И звал политики послушать.

История, роман, поэзия, все это перегорело в политический памфлет разных видов, целей и размеров. Все это может быть и потребность или прихоть времени. Вовсе не слушать этих потребностей и прихотей неуместно и невозможно. Вполне победить их трудно, но слепо прислуживать им и рабски повиноваться не следует. Во Франции о литературе даже почти не упоминается. Это слово вытеснено другим: «la presse», то есть *«печатность»*. Выражение материального значения заменило выражение, имевшее более нравственное значение. Это не случайность, а полный смысла признак настоящего времени. Вещественность поборола духовность, и побежденная не иначе может проявляться, как под знаменем своей победительницы. Еще за двадцать пять лет тому Вальтер Скотт, Байрон, Манзони были явления возможные. Голос их раздавался во всех концах образованного мира. Новый роман – и, заметьте, роман не политический, не социальный, – новая поэма, новая драма были события в общественной жизни. Они возбуждали повсеместное внимание и сочувствие. Старик Гёте читал и изучал молодого Байрона, Байрон изучал Гёте; о публике, о большинстве образованных читателей и говорить нечего. Великие художники держали в руке своей умы и сердца очарованного ими поколения. Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли ныне пишут потому, что в груди их волнуются и роятся образы, созвучия, которые невольно и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира, жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени, таящегося и зреющего в груди его? Гёте, Шиллер были бы очень неуместны в нынешней Германии. Им было бы неловко и както совестно. Можно предположить сбыточность всех возможных преобразований в Италии, но есть ли возможность предположить, что в ней явятся новый Тассо, новый Ариосто? Тот же Манзони, написав один превосходный роман, заперся в молчании своем. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и другие знаменитости, старшая ветвь литературного дома, бессознательно подготовившие нынешнюю Францию, возвратись они на землю, не признали бы законными наследниками своими младшую ветвь, воцарившуюся во французской литературе. Вольтер и Руссо отреклись бы от потомков своих. Мы видим, что железные дороги частью уже упразднили, а со временем и окончательно упразднят бывшие путевые сообщения. Другие силы, другие пары давно уже уволили огнекрылатого коня, который ударом копыта высекал животворные потоки, утолявшие благородную и поэтическую жажду многих поколений. Ныне Пегас – та же кляча Россинант, на которой разъезжал рыцарь печального образа, и поэт в наше время едва ли не тот же Дон Кихот.

II

Мы по привычке своей несколько уклонились от предназначенного себе пути. Увлекаясь проселочными дорожками, мы невольно и незаметно для себя забрались в чужие отъезжие поля. Что же делать, если эти соседние поля более заманчивы, чем наши? Там есть где разгуляться, где поохотиться. Там более простора, более поживы. А впрочем, сказанное нами о литературах иностранных можно приблизительно применить и к нашей. Разница между ними в оттенках и во времени. Если сходство не вполне обозначается сегодня, оно может обозначиться завтра. Атмосферические токи сообщаются и переносятся повсюду с неотразимою силою. Литература наша сбивается немножко на провинциальную щеголиху, которая обновляет на себе моды, в столицах уже несколько изношенные.

Теперь возвратимся к своим рубежам, или *островам* (охотничье выражение). Мнение Манзони, нами выше приведенное, о переходе литературы из частной среды в общий разлив, так что уже трудно будет размежевать чресполосные угодья и обозначить столбами, где кончается литература и где начинается жизнь, или обратно, если это мнение вполне и осуществится когда-нибудь и где-нибудь, то, во всяком случае, у нас гораздо позднее, нежели у других. На это много очевидных причин. У нас литература не слишком разнообразна и богата. Как же надеяться, чтобы она могла скоро разлиться через край и оросить дальние окрестности и оплодотворить новые жатвы? Жизнь наша пока еще мало литературна, а литература мало жизненна. Писатели наши, за редкими исключениями, не только по старым предрассудкам общества, но и по собственным предубеждениям живут чересчур особняком. По каким-то стремлениям к худо понимаемой независимости, по какой-то ложной гордости многие из них не хотят повиноваться условиям того, что называется, и, впрочем, того, что есть в самом деле, высшим обществом. Что же выходит из этого горделивого отщепенства? Последствия прискорбные! Писатели остаются в стороне. Литература, живая сила, относится ими на второй или нередко и задний план, а потому и передают нам они наблюдения, впечатления, так сказать, из вторых и третьих рук. Пожалуй, иное иногда сказано и красиво, и ловко, но нет жизни, потому что между писателями и жизнью углубилась бездна. Жизнь действует, волнуется, совершенствуется, ошибается мимо тесного их горизонта. Никогда не бывают они с жизнию в одном и равном диапазоне. Ученым изыскателям таинств науки и природы удаление от шума и столкновения событий может быть благоприятно, хотя, впрочем, оно и не есть необходимо. Мы видим, что Гумбольдт, утренний труженик, вместе с тем и вечерний салонный и любезнейший собеседник. Писатель светский должен и сам быть на поле действия и битвы. Он должен быть в одно время и соглядатаем и бойцом. Он должен проверять умозрения свои опытами действительности и покорять действительность исследованиям и разложению своих умозрений.

Ничего нет забавнее доктринерского высокомерия некоторых писателей наших, когда они с жалостью и презрением отзываются о легкомыслии, пустоте и недостатке нравственных начал нашего высшего, или аристократического, общества. Во-первых, хочется спросить многих из них: а вы почему это знаете? Во-вторых, просить их указать нам на этих стоиков и квакеров нашего среднего общества, которые мужеством и доблестью и смиренным благочестием могли бы пристыдить слабодушие и предосудительные поползновения грешников высшего общества. Где же эти литературные труженики, эти бенедиктинцы, святые отцы науки, которые посвятили себя исключительно подвижничеству мысли и слова, собрали сокровища науки и, мимо высшего общества, одни, сами собою, облагодетельствовали и просветили русский мир? Где они? Укажите, Бога ради. А пока не следовало бы нам ни в каком случае забрасывать друг друга укоризнами и каменьями. Все мы более или менее грешны; но грех в высшем обществе более вежлив, благообразен, сдержан. Притворство,

ханжество (hypocrisie), сказал кто-то, есть дань порока, платимая добродетели. Спасибо и за это! Загляните у нас в литераторскую жизнь: вы найдете те же уклонения, немощи, свихнутия, что и в высшем обществе, потому что слабости и страсти людские искони те же и те же. Только в высшем кругу эти изъяны, эти пятна прикрыты аттическим блеском, смягчены аттическою вежливостью. Молодая аристократия отправляется кутить к Кулону или Дюссо; молодая русская грамотность забирается с тою же целью в трактир Палкина или в какой-нибудь «Лиссабон»[2]. Один суровый литературный раскольник пенял молодому ученику, что он пробирается в враждебный стан и поклоняется чужому знамени. Что же делать, отвечал он, там лучше кормят, после обеда предлагают отличную сигарку, да и дамы как-то опрятнее. Аристократические салоны не помешали Карамзину написать 12 томов «Истории», Пушкину написать в короткое время несколько превосходных произведений. Напротив, может быть, – о ужас! – эти салоны способствовали развитию, разнообразию и окреплению их дарования. Исключительный дух товарищества, что-то вроде замкнутого заведения, суживает понятия: тут не себя переносишь в среду жизни, а жизнь переносишь в свой заколдованный круг, окорочиваешь и заключаешь ее в тесных границах. Я был в сношениях со многими, едва ли не со всеми современными литераторами нашими. Из впечатлений и следов, оставшихся на мне от разговоров с ними, глубже и плодоноснее врезалось слышанное мною от Карамзина, Дмитриева, Пушкина, Баратынского.

[2] *«Лиссабон»,* – говорит Мятлев в описании петергофского праздника, – «*не па бон»*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.